

Александр Зорин

**В** НАЧАЛЕ перестройки отец Александр Мень задумал создать общество «Культурное возрождение». Его нужно было зарегистрировать и провести учредительное собрание. Собрание возглавили именитые учредители, призванные гарантировать лояльность новой организации. Советская власть на излете строила всяческие препоны общественным начинаниям и здесь тоже отметила — зарегистрировали «Культурное возрождение» не сразу, терпя и путая документы в инстанциях.

В число учредителей отец Александр пригласил и Булата Окуджаву. Дело было новое, рискованное, обсуждались всяческие подробности, собрание затянулось, а когда стали расходиться, обнаружилось, что окуджавская машина стоит на ободах — проколоты шины. Извечная мелкая месть Поэту. Но нашелся добрый человек, привез новые колеса. И только далеко за полночь Окуджава смог уехать домой.

Булат Шалвович по своим человеческим качествам, мне кажется, относился к тем людям, кого отец Сергей Желудков называл анонимными христианами. Они вроде бы не исповедовали Христа, не ходили в Церковь, но жили, старались жить по совести.

Я не склонен относить Окуджаву к христианским или духовным поэтам. Да и есть ли вообще такие? Желание загнать личность в обойму — пережиток коллективистского сознания. От него пахнет готовностью шагнуть в ногу со временем, как шагали когда-то пролетарские-крестьянские-революционные-военные и прочие стихотворцы. Поэзия, каких бы земных материй и богоборческих смыслов ни касалась, все равно останется явлением духовного порядка. Если она, конечно, поэзия, а не камуфляж.

По этой же причине обрядили и Пушкина чуть ли не в подрясник — и для пущей убедительности скрепили академическое собрание сочинений (репринтное) благословением Святейшего. Стоило ли «Гаврилади» благословлять, когда сам автор от нее отрешивался?

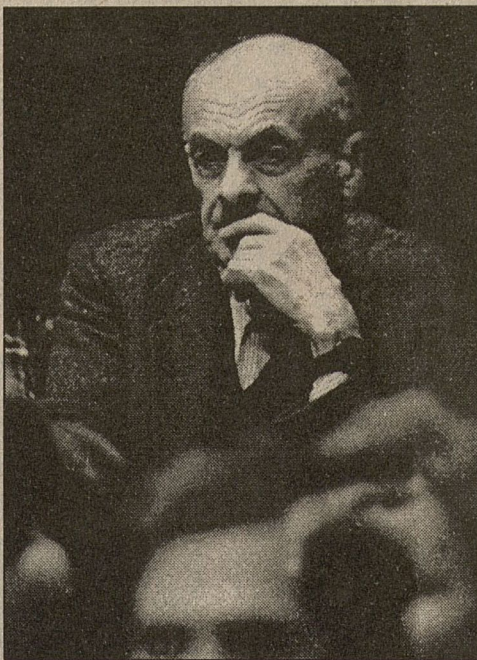
На вопрос, зачем он живет на этой земле, Окуджава ответил и жизнью, и творчеством, и ответ его совпадает с христианскими установлениями. Он ответил на языке, на котором изъяснялись его современники и который был свойствен ему. Не на языке веры, а на языке доверия. В задушевном доверительном разговоре, когда собеседники общаются, как свои люди. Душевность — преобладающее свойство его личности, строгая, умудренная душевность. В ней нет расхристанности и порыва броситься на шею первому встречному. Она как будто удерживается евангельским советом: не мечите бисер перед свиньями. Здесь сказался не только прилюдный грузинский темперамент, но, кто знает, может быть, и более ранняя, чем в России, прививка христианской этики к грузинской культуре.

Отец Сергей Желудков однажды возмутился, когда мы при нем после молитвенной встречи пели окуджавское «Пока земля еще вертится». «Как вы можете не замечать фамильярности: «Господи мой Боже, зеленоглазый мой!» — сказал он. — Когда же наконец вы, христиане, сами начнете сочинять песни, не отдавая церковное творчество в руки светских миротворцев?»

«Зеленоглазый мой...» — действительно, несколько экстравагантно, — подумал я тогда и взглянул на «Молитву» (так называется эта песенка) со всюю строгостью религиозного понимания. Но, не кривя душой, обнаружил, что с этой точки зре-

# ВЕСТНИК ДОВЕРИЯ

## Зеленоглазый Бог Булата Окуджавы



Булат Окуджава.



Александр Мень. Фото Дмитрия Донского (НГ-фото)

ния песня неуязвима и все слова «Молитвы» я могу произнести, как свои собственные, за исключением, может быть, слов об убитом солдате, который во что-то там верит. Не этой ли точностью объясняется, кроме всего, ее популярность в христианской среде, и «зеленоглазый Бог» несколько тому не мешает.

А местоимение «мой», такое частое в обращении «любимый мой», здесь имеет оттенок исповедальности: мой Боже, не чей-нибудь, а мой. Это выражение есть во всех европейских языках и, стершееся сегодня до просторечия, в основе содержит самое краткое исповедание веры. Так что «зеленоглазый Бог», встречающийся и на русской иконе, здесь вполне оправдан — так же, как и местоимение «мой». Поэт обновляет слова, возвращает им изначальный смысл.

С тех пор прошло немало лет, но своих песен у православных так и не появилось, если не считать некоторых, доступных узкому кругу. До сих пор творчество мирян остается неостереженным в Церкви. Поэтому их место занимают «светские миротворцы».

Известный консерватизм русской Церкви стоит на страже архаических форм богопочитания. «Положено так до нас, так и лежи во веки веков», — говорили старообрядцы, а сегодня этого порядка придерживается вымученное священноначалие. Возбращается под страхом отлучения от Церкви переводить заново или адаптировать церковные песнопения, а уж петь в храме после службы под гитару приравнивается чуть ли не к смертному греху, чему я однажды был свидетелем в районном городке. Настоятель местного храма пригласил в гости православную молодежь из Москвы. Вечером в храме мы показали нашим единоверцам рождественский спектакль, а потом вместе с ними пели и свое, и Окуджаву. Тотчас был написан донос в епархиальное управление, и настоятель едва не лишился прихода.

Окуджава ничье место не занимал, изначально пребывал на своем. Голос его прорезался в публичные сферы в конце пятидесятых, когда песенно-бравурный официоз еще успешно крепил устои дрогнувшей империи. Вспомним блоковское: «В толпе все кто-нибудь поет...». Так вот, этот голос, услышанный толпой, подавленной и растерянной после XX съезда партии, действовал наподобие катализатора, ускоряя и упорядочивая глубинные духовные процессы. Он зву-

чал во многих домах, где за чаем оттачивалось сокровенное «кухонное» инакомыслие. Общество, замороженное тотальной идеологией, тянулось к душевному откровению. Не случайно в эти годы появилась плеяда лирических поэтов, молодых и не очень, оповещая, что ночь миновала, но еще не утро.

Личность не может жить в изоляции, общение потребно, как воздух. Враг человеческий, одержавший временный, будем надеяться, успех в России, силен возведением всяческих стен и перегородок между людьми. Лирический голос эти перегородки растапливал, и вокруг него, как вокруг костерка, собирались озябшие, потерянные люди. Повторяя простые слова, они учились забытому языку любви. Песенка «Возьмемся за руки, друзья...» появилась в те годы. Обнадеживающий этот призыв перекликается с евангельским: «Да любите друг друга...» Но Христос добавляет: «Как Я вас любил». То есть дает пример совершенной любви. Ведь взяться за руки могут и злодеи, меж ними тоже случается дружба... Они тоже не хотят пропасть — и поодиночке, и гуртом. Единственное, что их выдаст, — это их тон. Они оповестят о своей дружбе своим голосом. Окуджава неприемлем для них на уровне тона — главным и неподдельным показателем его мироощущения.

Уголовники Окуджаву не поют. Они всегда в оппозиции к миру, мир всегда им враждебен. А интуиция, сестра окуджавского доверия, мир принимает. Со всеми ужасами и падениями, вовсе не оправдывая ненависти, царящей в нем, но уповая на Благородство и Достоинство, которые никогда не переводятся.

Младенцы, спящие в колыбели, воспринимают Окуджаву тоже на уровне тона. Не одно поколение выросло под его песни, звучавшие вместо колыбельных. Ни Высоцкий, ни Галич для этой миссии не годятся.

Но почему музыка пришла на помощь поэзии? Как будто словам перестали верить, как будто слова обесценились после провала коммунистических идей и, пустопорожние, стали медью звенящей, кимвалом бряцающим. Мелодия, усиливая гармоническое начало стиха, привлекала слух, забытый идейным шумовым мусором. «Озвученное» слово доступнее, призывнее. Особенно озвученное гитарой. Поэзия, обращенная к массам, взлетала на струнах, как на крыльях.

Его поэзия не делится на со-

ставляющие: текст, мелодия, исполнение. Она там, где они неразлучны. В магнитных записях, конечно, исполнение остается, но за вычетом обаяния живой личности, которое не воспроизводится. Он и сам об этом догадывался, если говорил, что петь меня, может быть, будут, а читать — навряд ли.

Каждая из окуджавских песен, пережившая десятилетия, мечена драгоценными личными переживаниями того, кто ее слышит. У меня они связаны с юностью, блужданием по бездорожью хрущевской оттепели, со смутной зыбкой надеждой. Через свое — понятнее чужое. Недаром древняя мудрость гласит: не делай другим того, чего не желаешь себе.

Надежда в самых разных одеяниях, преимущественно романтических, — чуть ли не главная героиня окуджавской лирики. Надежды маленький оркестрик славит своих соучастников — Совесть, Благородство и Достоинство. Окуджава пишет их с заглавной буквы. Конечно, «славит» — неподходящий глагол, слишком шумный в камерном исполнении. Разговор, озвученный мелодией, ведется вполголоса, и пауза между словами не менее выразительна, чем сами слова. Неизменные кредиторы — Вера, Надежда, Любовь — молчаливы, они присутствуют в больничной палате почти невидимо, при опущенных шторах. Они как бы стесняются дневного света, они прикровенны при своем появлении. Но они есть, их присутствие реально, хотя и не очевидно. Так же реально, как близость нескольких пассажиров в полномочном троллейбусе. Они тоже молчат, эти посторонние люди. И трудно представить, как, оканчиваясь, много доброты — в молчанье, в молчанье... Как оно бывает красноречиво и действительно.

И в прозе, и в поэзии Окуджава оставался верен той гуманистической традиции русской литературы, которая развивалась вне церковной ограды. У Окуджавы Христос как бы еще не назван. Не обозначен именем. Но Он есть, запечатленный в Духе и Истине, в преломлении тем и вариаций. Поэт, возможно, и сам не подозревая, сохранял верность третьей библейской заповеди: не употребляй имени Господа всуе. Просто он оставался верен себе, своим близким, своему сердцу, настроенному на любовь. А иначе без этой неуязвимой верности зачем и жить («А иначе зачем на земле этой вечной живу?»)?

Его многомиллионная аудитория в большинстве своем остается вне церковной ограды. Ей привычнее и понятнее его язык, его откровение, его рыцарская боязнь предать Истину. (Заметим в скобках, что в основе рыцарской чести заложены христианские ценности: Чаша Грааля — атрибут евхаристической жертвы.) Людей, коротающих свой век в бесправном государстве, не может не тронуть трепетное, я бы сказал, колени-преклоненное отношение к женщине. Оно пришло откуда же, из рыцарских времен, и, отраженное в смутном зеркале русского символизма, когда-то вдохновляло поэтов видеть в облике жены образ Прекрасной Дамы. Советская эпоха отрезвила и поэтов, и простых мужей, не умеющих защитить своих спутниц, обезличенных и фригидных. Защитить — значит любить, подсказывает Окуджава, — и тогда не увянет в них женственность и красота.

Первый шаг навстречу настоящей любви — увидеть в женщине высокое предназначение. Очарованное существо, она мечтает о прекрасном и неуловимом, как о летящем мимо воздушном шарике. Печальный романтический образ... В притче о голубом шарике запечатлен мятущийся и побеждающий в конце концов порыв доверия.

Земное, конечно же, конфликтует с небесным. Печальная нота пронизывает романсово-романтический строй его поэзии. Невольно вспоминается ветхозаветное: во многую музрости много печали. А мудрости в его песнях действительно много — доброжелательной, дальнорзкой, чуть ироничной. Жестокий опыт русской истории, включая новейшую, оставляет достаточно поводов для печальных умозаключений. И их нельзя опровергнуть, можно только заручиться против скорбей мира новозаветным, часто повторяющимся призывом: «Радуйтесь! Бодрствуйте!»

*Текут стихи на белый свет  
из темени кромешной,  
из всяких горестных сует,  
из праздников души.  
Не извратить бы вещей смысл  
иной строкой поспешной.  
Все остальное при тебе —  
мужайся и пиши.*

В этой гулкой просторной строфе перекликаются слова из Священного Писания. «Суета сует», сказал Екклесиаст, все — суета! Скорбное прозябание во тьме кромешной, если не услышать спасительного голоса из Назарета: «В мире будете иметь скорбь; но мужаетесь: Я победил мир». Мужайся, мужайтесь — вот что выводит из горестных сует, из благоустроенного тупика.

Кризис религиозного сознания — явление повсеместное. Он напрямую связан с болезнями роста и становления Церкви. В Западной Европе не было, как в СССР, безбожных пятилеток, а храмы тоже опустели. Поэтому религиозное возрождение, начавшееся в России примерно с шестидесятых годов, казалось едва ли не спасительным для всего христианского мира. Европа опять захотела увидеть свет с Востока и потянулась сюда за очередной надеждой. Но если это и возрождение, то самое раннее. Еще не утро. Второе (сегодняшнее) крещение Руси мало чем отличается от первого, если вызвано страхом или суеверной традицией. «Хуже не будет», — говорила моя соседка, многодетная запойная мать, крестя своего очередного младенца. И все они, как по конвейеру, уходили в детприемник, в колонию, в зону.

Предутреннее состояние в природе сродни предчувствию. Позывные окуджавских песен сигнализируют в диапазоне предчувствия и могут быть услышаны без языка. Не потому ли зарубежные концертные залы, где он выступал, были всегда полны. Душевное откровение предшествует откровению духовному.

Окуджава  
Булат